

ПЕРЕВОД

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Перевод

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Перевод / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Иерусалим, недалёкое будущее. Единая нейросеть-переводчик «Вавилон» избавила человечество от труда учить чужие языки — и в один момент падает, оставляя четыре миллиарда человек немыми среди себе подобных. В день всеобщей глухоты профессор Ирина Гельфанд, вычеркнутая эпохой переводчица старой школы, идёт пешком через онемевший город к дочери, рожавшей в клинике на другом конце Иерусалима. У неё есть только больное колено, обручальное кольцо покойного мужа и голос, который мир двадцать лет считал избыточным. Роман-катастрофа о цене понимания, живом слове и последней профессии, что осталась у человечества, когда молчит машина.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	8
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Эдуард Сероусов

Перевод

Часть первая

За стеклом такси плыл Иерусалим, говоривший на всех языках сразу, и Ирина Гельфанд понимала почти каждый — потому и не вставляла в ухо каплю наушника, которую сунул ей на выходе из аэропорта улыбочивый волонтер в оранжевом жилете. Пластик лежал в кармане плаща, тёплый, невесомый, и обещал стереть последнюю преграду между нею и всем светом. Ирина эту преграду любила. Сорок лет преграда была её работой, а последние пять — единственным, что у неё осталось.

Было раннее утро, а город уже дышал жаром. Свет здесь падал не так, как в других местах, — плотный, известковый, он лип к камню, и камень отдавал его обратно, и весь Иерусалим казался выпцветшим на солнце добела, как старая фотография. Пахло разогретым камнем, кофе с кардамоном, соляжкой, где-то — мятой и бараньим жиром с ранних мангалов. За окном тянулась улица, полная лиц и наречий: две монахини говорили по-итальянски, торговец раскладывал гранаты и переругивался с поставщиком по-арабски, стайка подростков-туристов щебетала не то по-корейски, не то по-японски. И над всем этим, невидимая, лежала сеть — тонкая, всепроникающая, — которая переводила каждое слово каждому, кто вставил в ухо каплю, так что итальянка понимала араба, а кореец итальянку, и никто больше не давал себе труда выучить хоть одно чужое слово, потому что за всех выучил «Вавилон».

Водитель что-то сказал ей — коротко, с вопросительной интонацией, на иврите. В его ухе сидела такая же капля, и Ирина знала: стоит ей ответить по-русски, как через полсекунды из динамика на приборной панели выйдет её мысль, вывернутая наизнанку, гладкая, точная и мёртвая. Она ответила рукой — два пальца, «прямо». Он кивнул, и между ними не произошло ничего, кроме понимания.

— Клиника «Хадасса», Эйн-Керем, — всё же сказала она, потому что жестом адреса не покажешь.

Машинка в ухе водителя проснулась, пискнула, перевела. Он снова кивнул, уже иначе — как кивают старикам и сумасшедшим, — и вырулил в поток. В зеркале мелькнули его глаза: он смотрел на неё как на музейный экспонат, на женщину, которая зачем-то говорит вслух, когда всё давно можно молчать.

На заднем сиденье, в сумке, лежала распечатанная на бумаге — что теперь делали одни чудачки — выписка: срок, вес, положение плода, фамилия врача. Её дочь Катя рожала первенца, и Ирина летела через полмира, чтобы... вот здесь, всякий раз, предложение обрывалось. Чтобы — что? Помириться? Слово было слишком большим и слишком поздним. Они не ссорились пять лет — для ссоры нужны слова, а слов между ними как раз и не осталось. Была последняя фраза, которую Ирина бросила дочери в спину в аэропорту пять лет назад: «Ты предаёшь родной язык». И была капля пластика, которую Катя тогда, не оборачиваясь, вставила в ухо — чтобы не слышать мать без перевода.

Переводчик, не умеющий перевести себя собственной дочери. Ирина усмехнулась в окно. Была бы хорошая тема для лекции, если бы ещё остались кафедры, где такие лекции читают.

Она попробовала — в который раз за перелёт — сложить первые слова. «Катенька, я...» Дальше не шло. По-русски выходило слишком много, по-английски — слишком мало, а на языке, который придумала для них жизнь, — на языке пиктограмм, наушников и смайликов, — выходило ничего. Она помнила Катю четырёхлетней: как та, засыпая, требовала сказку непременно «своими словами, не из машинки», и как смешно и твёрдо выговаривала «жи-ли-бы-

ли», деля слово на косточки. Помнила, как учила её первым буквам за кухонным столом, как Катя рисовала «Ж» и говорила, что это жук. Куда это делось. В какую щель между обновлениями уткло. Была девочка, которой родной язык был как вода, — и стала женщина, которая заткнула уши каплей пластика, чтобы не слышать в материнской речи ничего, кроме перевода.

Игорь сказал бы, что Ирина сама виновата. Игорь вообще говорил редко и метко, как ставят точку. Он был филолог, как и она, старой школы, из тех, кто правил чужие переводы карандашом на полях и спорил о запятой три дня; он умер четыре года назад, тихо, во сне, оставив ей пустую квартиру, полную книг на девяти языках, и обручальное кольцо, которое она теперь носила на цепочке под блузкой, потому что на распухшие к жару пальцы оно давно не налезало. Он не дожил до того, чтобы увидеть кафедру закрытой. И это, пожалуй, было единственное, за что Ирина благодарила судьбу.

Такси встало на светофоре у старого корпуса университета, и Ирина не сразу поняла, что не так. Потом поняла: сняли вывеску. «Кафедра теории и практики перевода» — бронзовые буквы, под которыми она простояла половину жизни, — исчезли, и остались только светлые тени на камне, точный контур несказанного слова. Кафедру закрыли три года назад. «За отсутствием спроса», — было написано в приказе, и это была чистая правда, как чистой правдой бывает диагноз. В последний год к ней записывались двое, трое студентов — чудаки, идеалисты, дети эмигрантов, которым родители завещали чужой язык как реликвию. Их было жалко больше всех: они выучили ремесло, которое умерло раньше, чем они успели им овладеть.

На тротуаре у корпуса топтался турист — молодой, в панаме, — и беспомощно тыкал пальцем в табличку на иврите; капля в его ухе, видно, захлебнулась на слабом сигнале, потому что он всё повторял в телефон «where, where», а телефон молчал. Ирина опустила стекло.

— Вам куда? — спросила она по-английски.

Турист вздрогнул, услышав живой голос — без задержки, без металлического призвука на согласных, каким машина метит переведённую речь, как клеймом.

— К Стене. Тут написано... я не могу прочитать.

— Тут написано, что проход закрыт до полудня. Вам в обход — вниз и налево, по Хагай. — Она показала. — Десять минут пешком.

— Спасибо, — сказал он растерянно и прибавил, словно оправдываясь: — У меня обычно переводит...

— Я знаю, — сказала Ирина и подняла стекло.

Машина тронулась. «У меня обычно переводит». Она слышала эту фразу так часто, что та стёрлась до простого звука, до вздоха. Никто больше не знал чужих слов — зачем, если есть «Вавилон»? Единая сеть, единая модель, один голос на четыре миллиарда ртов. Ирина помнила, как это называлось на слушаниях три года назад: «консолидация ради качества». Раньше моделей было много, они конкурировали, спорили, ошибались по-разному — и в этом разное, доказывала она комиссии, была страховка, как страховка в том, что у поля много колосьев, а не один. Потом их слили в одну — самую большую, самую точную, обученную на всех текстах человечества сразу, — и посадили на один облачный кластер, потому что так дешевле, так чище, так удобнее правительствам, судам и цензорам: один рубильник, одна точка контроля. Назвали её без всякой иронии — «Вавилон». Как будто, дав башне имя рухнувшей, можно откупиться от её судьбы.

Она сидела тогда за длинным полированным столом, единственный вызванный эксперт, говоривший «нет», и объясняла комиссии — медленно, как первокурсникам, — что нельзя сводить всё человеческое понимание к одному серверу; что язык не сервис, а тело, живое тело народа; и что тело, посаженное на один-единственный аппарат дыхания, умирает в ту секунду, когда из розетки выдёргивают вилку. Она просила немногого — оставить резерв. Держать при сети «теневого корпус»: живых, сертифицированных переводчиков, по горстке на каждый крупный язык, обученных и оплаченных, как держат доноров редкой крови или пожарных при

пустом складе. «На случай, — говорила она, — которого мы все не хотим и который поэтому непременно настанет».

Ей вежливо улыбались и подливали воду в стакан. А потом слово взял он — её лучший студент, её измена и её гордость. Тео Ланг, тогда сорока одного года, в тонком тёмном свитере, с лицом человека, которому мир ещё ни разу не сказал «нет». Он говорил без бумажки, легко, и зал теплел от его голоса, как теплеют от солнца.

«Профессор Гельфанд, — сказал он, и в том, как он произнёс "профессор", было столько нежности и столько снисхождения, что Ирине захотелось встать и уйти, — была моим учителем, и я обязан ей всем, кроме одного: веры в будущее. Она предлагает нам содержать пожарную команду на случай, если однажды разучится гореть вода. Резервирование — это налог на прогресс, оплаченный страхом. Мы можем платить этот налог вечно — или можем наконец повзрослеть и довериться тому, что построили». Зал засмеялся — тепло, необидно, как смеются удачной шутке, — и в этом смехе поправка Ирины умерла. Её отклонили в тот же час. Ирину больше не приглашали — ни туда, ни куда бы то ни было; ещё через год пришёл приказ о кафедре, и светлые тени на камне заняли место бронзовых букв.

Такси вырвалось на проспект, и здесь Иерусалим показал новое своё лицо. Над перекрёстком висел экран во всю стену дома, и на экране был он — Тео, постаревший ровно настолько, чтобы сделаться значительнее. Он стоял на трибуне в зале, полном флагов, и внизу бежала строка: «Иерусалимский саммит. Церемония подписания Договора о глобальном управлении ИИ». Девяносто делегаций. Полмира съехалось сюда, за несколько кварталов от Ирины, чтобы доверить машине ещё больше — не только слова, но и решения, которые прежде принимали живые люди в комнатах, полных непонимания: споры о границах, о водах, о том, чей ребёнок и чья вина.

— Сегодня, — говорил Тео с экрана, и голос его выходил разом из тысячи наушников на улице, чуть вразнобой, так что слова догоняли сами себя эхом, — мы закрываем последнюю главу истории, в которой человек человеку был чужим. Языки разделили нас на заре времён — и вот мы снова один народ, говорящий одним голосом. Мы не убили языки. Мы избавили людей от труда не понимать друг друга.

Кто-то на тротуаре зааплодировал. Ирина смотрела на его лицо величиной с дом и думала, что аплодировать труду, от которого тебя избавили, — всё равно что аплодировать собственным похоронам, красиво обставленным.

И тогда это случилось — в первый раз.

Наушник водителя пискнул. Не мелодично, как обычно, а коротко и тревожно, как прибор у постели. На панели крутнулось колечко из точек — крутнулось и застыло на долю секунды, и голос Тео на динамике споткнулся, повторил слог, «пони-пони-понимать», и выправился. Водитель постучал по уху пальцем. На стене во всю высоту дома Тео говорил как ни в чём не бывало, но Ирина — единственная, быть может, на всей улице — почувствовала, как по спине прошёл знакомый холод. Тот самый, профессиональный, с которым она сорок лет ловила в чужой речи одну-единственную фальшивую ноту, тот сбой, ту заминку, где смысл начинал утекать.

— Ничего, — сказал водитель, поймав в зеркале её взгляд. Приложение перевело ровным синтетическим голосом: «It is nothing». — Связь.

— Да, — сказала Ирина. — Связь.

Она сжала в кармане тёплую каплю пластика и, сама не зная зачем, попросила:

— Быстрее, если можно. Пожалуйста.

Часть вторая

Быстрее не вышло.

Через три квартала проспект загустел и встал — не так, как встают от аварии, а весь сразу, будто городу разом выключили спинной мозг. Ирина не поняла сначала масштаба; она видела только, что машины больше не едут, что водители один за другим тычут пальцами в уши, стучат по панелям, опускают стёкла и высовываются, окликая друг друга вопросами, которых никто не понимает.

Потому что все наушники показывали один и тот же значок.

Он был кроткий, этот значок, — колечко из семи точек, гонявшихся друг за другом по кругу, — обычный знак того, что машина думает, что сейчас, через миг, она выдаст ответ. Люди привыкли к нему за годы; он мелькал и гас сотни раз на дню, и никто не боялся его, как не боялся вдоха перед словом. Но сейчас он не гас. Он крутился и крутился, на всех экранах разом, кроткий и неумолимый, и с каждой секундой его вращения по улице расползалось что-то новое, чему ещё не было имени.

Ирина вышла из такси — деньги сунула водителю бумажкой, он взял не глядя, — и встала посреди улицы, и вокруг неё Иерусалим впервые за двадцать лет заговорил сам, без посредника. И оказалось, что сам он говорит на ста языках и ни одного не понимает. Женщина у аптеки трясла за плечо охранника и кричала по-французски, что ей нужно лекарство, что у неё рецепт, что человек умирает; охранник разводил руками и отвечал по-арабски, что аптека закрыта, что он ничего не может, что он тоже не понимает, — и оба говорили всё громче, будто громкость могла заменить смысл, будто, крича, можно пробить стену, которая встала между ними из ничего. Тот турист в панаме — или другой, теперь все они были на одно лицо — сидел на бордюре и снова, снова совал в ухо мёртвую каплю, как тычут пультом в переставший отзываться телевизор. Мальчик лет пяти держался за руку не своей матери и ещё не плакал, а только озирался, выискивая среди чужих лиц то, которое поняло бы его; и было страшно смотреть, как медленно, по капле, наливается ужасом это детское лицо, понимая, что ни одно из окружающих лиц ему не ответит.

У аптеки на углу наливалась своя маленькая беда. Молодая женщина колотила ладонями в опущенную решётку и кричала — сначала по-русски, потом, спохватываясь, тыкала пальцем в экран телефона, где кротко крутился значок, — что отцу нужен инсулин, немедленно, что у него в сумке пусто, что он вот-вот потеряет сознание прямо здесь, на раскалённом тротуаре, у её ног. Провизор за решёткой — пожилой, насмерть перепуганный — видел кричащую женщину, видел оседающего старика, но не понимал ни единого слова и оттого не двигался, оцепенев, боясь ошибиться, боясь дать не то лекарство, потому что не то лекарство сегодня убивало вернее всякой болезни. Женщина уже не кричала — выла, старик заваливался набок, и между ними, в какой-нибудь полуметре, стояли стеклянная решётка и стена немоты, которую не брал никакой крик. И тогда прохожий, незнакомый, немолодой, не говоря ни слова — да и что бы он сказал, — присел на корточки перед стариком, закатал ему рукав до локтя, показал провизору сгиб руки со старыми, въевшимися следами уколов, ткнул себя пальцем в живот и изобразил в воздухе, как вводят шприц. И провизор понял. Понял без единого слова, по одному только рисунку тела, по этой немой пантомиме нужды, как понимали друг друга люди десятки тысяч лет до всякого «Вавилона», у костров, на чужих берегах, — и полез в холодильник за инсулином. Ирина смотрела на это, прижатая толпой к тёплой стене дома, и думала, что вот так, наверное, и придётся теперь всем жить: заново, с нуля, унижительно и трогательно учиться говорить руками, лицом, показом, всем тем древним, дословесным языком тела, который был до слов и, как выясняется, переживёт их.

Значок крутился и не запускался. Ирина смотрела на него в чьём-то брошенном на капот телефоне и слышала, как внутри неё очень тихо, очень спокойно её собственный голос — тот, что говорил на слушаниях, — произнёс: вот. Вот оно. Я же говорила. Двадцать лет она ждала этого «вот» и, дождавшись, не почувствовала ни капли торжества — только тошнотворный, проваливающийся ужас, потому что «я же говорила» ничего не чинит, «я же говорила» — самые бесполезные слова на свете, надгробие всякой несбывшейся осторожности.

И сразу за этим, отменяя и это, острая, как игла: Катя.

Она выхватила телефон. Своя сеть тоже стояла — те же точки по кругу вместо строки сообщений. Последнее, что пришло от дочери, было получено ещё в самолёте, три часа назад, и было не словом даже, а иконкой — сердце и капля, «воды отошли», — отправленной, конечно, через приложение, потому что и с матерью Катя разучилась говорить иначе. Ирина стояла, держа мёртвый телефон в вытянутой руке, как держат компас, и не знала, в какую сторону он показывает.

Вокруг неё улица на глазах меняла состав. Первая оторопь — та вежливая заминка, с какой люди ещё ждут, что связь вот-вот вернётся сама, — сходила, и из-под неё, как тёмная вода из-под треснувшего льда, проступало другое. Кто-то уже не спрашивал, а требовал; кто-то заплакал в голос; двое мужчин, не поделив что-то или просто не поняв друг друга, стояли грудью в грудь, и вокруг них расчищалось нехорошее пустое место, какое расчищается перед дракой. Ирина знала — не умом, а тем чутьём, что копится за сорок лет жизни между чужими языками, — что это только самое начало; что первый час всеобщей немоты пройдёт ещё в растерянности, а вот к третьему, к четвёртому, когда голод, жажда, страх за детей и за раненых сложатся с полной невозможностью хоть о чём-нибудь договориться, город станет по-настоящему опасен. Понимание, оказывается, было не удобством — оно было тем невидимым клеем, что держал вместе миллион чужих друг другу людей на тесных древних улицах, слишком хорошо знавших вкус крови. Вынь клей — и не станет ни очередей, ни правил, ни милосердия. Ей надо было успеть пройти город прежде, чем это случится, прежде, чем немота из беды сделается резнёй. Ирина сунула бесполезный телефон в карман, покрепче перехватила ремень сумки и прибавила шаг.

А в зале саммита, за несколько кварталов и в другой вселенной, Тео Ланг стоял на третьей минуте своей речи и молчал.

Секунду назад погас телепромптер. Не мигнул — погас, оставив чёрное стекло, в котором отразилось его собственное лицо, впервые за годы незнакомое. В наушниках девяноста делегаций крутился значок. Тео видел это по залу — по тому, как головы, одна за другой, склонялись набок, как люди трогали уши и переглядывались, не понимая; как по рядам, от кресла к креслу, побежала та же рябь недоумения, что бежит по воде перед бурей. Он открыл рот.

Он говорил на шести языках. Он гордился этим тихо и прочно, как гордятся ростом; он был из тех, кому костыль наушника не нужен, и, входя в зал, всегда клал свою каплю в нагрудный карман — маленький жест, который замечали и о котором писали. «Человек, вернувшийся миру Вавилон, сам в нём не нуждается» — так однажды озаглавили статью, и он вырезал её. Теперь он стоял перед сотней народов и понимал, что шесть языков — это шесть капель того самого моря, которое он собственными руками осушил. Он мог сказать «не волнуйтесь» по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански, на иврите и на мандаринском. В зале сидели люди, говорящие на кечуа, на амхарском, на тагальском, на финском, на сорока наречиях, которых он не знал и знать не мог, потому что двадцать лет назад решил — и убедил всех, — что знать их больше не нужно никому.

Он сказал: «Please». Голос упал в тишину и не долетел никуда. Тысяча лиц смотрела на него снизу вверх, ожидая перевода, которого не будет.

В третьем ряду поднялся человек — немолодой, в тёмном национальном платье, глава одной из африканских делегаций, — поднялся и заговорил, обращаясь прямо к Тео, требовательно, встревоженно, на своём языке, которого Тео не знал и за двадцать лет не дал себе труда узнать, потому что зачем. Делегат говорил, разводил руками, показывал то на мёртвый экран, то на своих притихших спутников, спрашивал — и осекался, видя, что и его не понимают, что и он, посол великой древней культуры, потомок людей, слагавших эпосы, когда предки Тео ещё не знали письма, вдруг оказался здесь немым просителем, тычущим пальцем в пустоту. Он сел, растерянный, разом постаревший. За ним, будто прорвало, поднялся другой и заговорил на третьем языке; кто-то откликнулся с места на четвёртом; женщина в первом ряду заплакала на пятом; и зал — ещё пять минут назад стройная, торжественная ассамблея народов, съехавшихся одним росчерком вверить машине последнее, что оставалось человеческим, самое понимание, — на глазах распадался в галдящую, испуганную, беспомощную толпу, в тот самый первобытный, доисторический Вавилон, от имени которого Тео так уверенно, так остроумно обещал их всех и навсегда избавить. Он стоял на трибуне над этим распадом — автор его, единоличный автор, — и молчал, и впервые в жизни чувствовал не власть, а её полную, оголённую, стыдную противоположность: он, соединивший наречия мира в один голос, не мог сейчас сказать соседу по трибуне простое «простите» так, чтобы тот понял. Он опустил глаза на бумаги перед собой — договор, девяносто выстраданных подписей, венец и оправдание двадцати лет труда, — и увидел мёртвые чёрные буквы, которые больше ничего никому не переводили и не значили, годные разве что на растопку. И в этой тишине, самой полной и самой страшной тишине его жизни, Тео Ланг вспомнил — некстати, ясно, во всех подробностях — длинный полированный стол, стакан воды и немолодую женщину, свою учительницу, которая говорила что-то про пожарных и про воду, которая однажды загорится, а он смеялся, и зал смеялся с ним. Он вспомнил слово, которое она повторяла, а он вычеркнул как избыточное. «Резерв». И понял — раньше всех в этом зале, потому что один во всём зале знал, как устроено то, что сейчас умирало, — что это не «связь», что это надолго, что где-то там, в единственном кластере, носящем имя рухнувшей башни, сейчас гибнет не сервис, а сама способность людей быть друг другу людьми. Он поискал глазами в первом ряду хоть одно лицо, которому мог бы это объяснить. Такого лица не было. Он сам, своими руками, позаботился об этом двадцать лет назад.

Телефон в кармане Ирины дёрнулся — коротко, судорожно, как рыба на песке. Она рванула его к глазам. Экран жил: видеозвонок, пробившийся сквозь умирающую сеть неведомо как, на последнем дыхании канала. Дани.

Изображение дрожало, разваливалось на квадраты и собиралось вновь. Ирина увидела палату — белое, зелёное — и дочь. Катя лежала, запрокинув голову, лицо её было мокрым, рот открывался в крике, которого Ирина не слышала: звук не шёл, только картинка. Схватка. Рядом Дани — она узнала его по чёлке, по тонкой оправе очков — держал раскрытую ладонь Кати в своей и что-то чертил на ней пальцем, быстро, снова и снова: линию, круг, стрелку. Он всегда так с ней говорил. Ирина видела это однажды, приехав на неделю два года назад: они сидели за ужином, и Дани, не зная её языка, а она — его, вели целый разговор ладонями, рисунками на салфетке, смехом; у них был свой словарь на двоих — не язык, а тайнопись любящих, где кружок значил «хорошо», а две чёрточки — «я устал», а ладонь, накрытая ладонью, — всё остальное. Ирина смотрела тогда и не знала, чему больше дивиться: тому, что без общего языка можно построить дом, или тому, что дом этот стоит на песке, на пиктограммах, на честном слове машины, которая переводит всё, кроме главного.

Дани вскинул глаза к камере — прямо на Ирину — и губы его двигались, он звал, он просил, и ни одного слова не доходило. Потом он сделал то, чего не делал никогда при ней: сложил ладони перед лицом, как складывают в мольбе. И экран погас.

Несколько секунд Ирина не могла шевельнуться. Чёрное, погасшее стекло отражало её собственное лицо, и на этом чёрном ещё горело, выжженное, как горит под веками после вспышки, лицо дочери — запрокинутое, мокрое, кричащее в беззвучии. Она смотрела на оборвавшийся на мольбе звонок и гнала от себя мысль, что это, быть может, последнее, что она видела живым, — и мысль возвращалась, тупо, упрямо. Ноги стали ватными. Где-то на дне сознания мелькнуло холодно и ясно: вот так выглядит немота — сложенные в мольбе руки и погасший экран, крик без звука, любовь без единого слова, которое дошло бы. Она сглотнула, и наваждение отпустило, оставив под рёбрами холодный камень.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.